ОНИ НЕ ХОТЕЛИ ГОВОРИТЬ О ВОЙНЕ…

Многие улицы в центре города были вымощены булыжником, и, если по такой мостовой катить тележку, раздается равномерное постукивание колес. По утрам можно было слышать, как в разных уголках старых улочек и переулков дребезжат разбитые колесики, а звуки постепенно уходят в сторону Свердловки. На деревянных тележках, отталкиваясь от мостовой тяжелыми колодками, катили безногие инвалиды в застиранных гимнастерках, на которых брякали медали. Обычно они сидели у входов в парки и скверы, разглядывая прохожих. На головах у них были фуражки или пилотки. Инвалиды не просили подаяний, они просто молчали. В то время фронтовики в городах уже почти не носили военную форму, но на пиджаках у многих были ордена и медали. Нередко фронтовики гуляли с женами и детьми. Завидев безногого, они останавливались, давали закурить, вспоминали войну и, смущаясь, предлагали одну-две денежные купюры. Им как будто было неловко оттого, что они здоровые, с руками и ногами, гуляют с нарядными женами, пьют пиво и газировку, ходят в кино, а на тротуарах сидят такие же, как они, фронтовики, но изувеченные безжалостной недавней войной. И они, многое повидавшие, в том числе близкую смерть, старались не проявлять жалости, но, если у жен вдруг начинали краснеть и влажнеть глаза, торопливо закуривали и уводили свои семьи. А инвалиды, многие из которых были бессемейными, проклятая война в том виновата, тоже закуривали и продолжали свое молчаливое сидение.

Мы, любопытные мальчишки, приносили этим искалеченным спички, папиросы, которые для них давали нам матери и отцы, пережаренные баранки из пекарни с угла Тихого переулка и Володарки, подолгу стояли рядом с ними, надеясь услышать героические истории. Но безногие   
дядьки с медалями на выцветших гимнастерках почему-то не хотели говорить о войне, а спрашивали нас о родителях, об учебе в школе, о чем угодно, но не желали рассказывать о своих подвигах. А нам представлялось, что они, как в кино, поднимались в атаку и падали, сраженные вражеским свинцом, но все это было красиво и впечатляюще. Чтобы добиться расположения увечных, мы хвастались отцами, которые на своих пиджаках носили боевые награды. Тогда те несколько оживлялись и торопливо спрашивали: «Батя-то твой не калека? Руки-ноги есть? Хорошо!» Однажды к инвалиду, ежедневно сидевшему у Первомайского сквера, подошел военный, на кителе которого сверкали ордена и медали, постоял, процедил сквозь сжатые губы: «Вот цена победы», вскинул ладонь к козырьку фуражки, резко развернулся на каблуках и зашагал вниз по Свердловке.

В наш старый городской двор со стороны Тихого переулка каждую неделю приходил точильщик, громко и весело кричавший: «Точу ножи-ножницы!» Левый рукав его гимнастерки был пустой, приколотый большой булавкой чуть выше солдатского ремня. Правой рукой он творил чудеса, ловко справляя свое нехитрое ремесло. Мы, дворовые мальчуганы и девчонки, радостно бежали ему навстречу. На груди умельца-фронтовика позвякивали три медали, но с другой стороны красовались орден Красной Звезды и гвардейский знак. В правом кармане у него был кисет с махоркой и квадратики газетной бумаги, чтобы свернуть самокрутку, и пакетик с дешевыми карамельками с народным названием «Дунькина радость». Прежде чем приступить к работе, он извлекал из кармана сладости, обсыпанные табаком, стряхивал желтые крошки и оделял каждого конфеткой. Затем он быстро работал, что-то веселое рассказывая обступившим женщинам, ласково поглядывал на нас, ребятню, раздавал наточенные ножи, сворачивал самокрутку, с наслаждением делал первую затяжку и выпивал рюмку водки, поднесенную на блюдечке. Однажды он пришел в то время, когда дома был отец. Они долго сидели на скамейке вдоль стены дома, курили отцовские папиросы, о чем-то тихо говорили, потом выпили водки и пели военные песни.

Дворы наши были проходными, так как все заборы в военное время разломали и топили ими в зиму печи, поэтому с улицы Полевой можно было дворовыми лабиринтами быстро проскочить до Черного пруда, где находилась городская баня, или до керосиновой лавки, располагавшейся возле церкви напротив Кулибинского парка. В некоторых домах появились новые жильцы, которые получили пустовавшие квартиры. Появились и дети, наши сверстники, но в наших шумных играх они не участвовали: не разрешали родители, видимо, опасались дурного уличного влияния с нашей стороны. Часто через наш двор проходила нарядная, ярко накрашенная женщина в причудливой шляпке, держа за руку пятилетнего на вид толстячка в красивой матроске. Однажды фронтовик-точильщик, одаривавший нас конфетами, предложил и этому мальчику свое нехитрое лакомство. В ответ женщина раздраженно закричала сыну: «Не смей брать в руки эту гадость, еще подцепишь какую-нибудь заразу». Однорукий фронтовик отвернулся, и мы увидели слезы на его глазах. Екатерина Ивановна, почтенная старушка, награжденная медалью за самоотверженный труд в тылу, подошла к женщине и что-то такое тихо ей сказала, что та, подхватив сына на руки, опрометью побежала от нашего дома.

Вечером случившееся событие обсуждал весь наш двор. Внезапно мой отец громко сказал: «Пусть дети знают» и, собрав мальчишек и девчонок в кружок, рассказал нам печальную историю. Когда началась война, точильщик ушел на фронт, а его жена и двое детей эвакуировались в Среднюю Азию. Поезд попал под немецкую бомбежку, и смертельный снаряд угодил в вагон, в котором ехала семья солдата. Он воевал как все, не щадил своей жизни, был тяжело ранен, лишился руки и только в госпитале узнал о судьбе своей семьи. И нам стало понятным, почему он всегда так ласково смотрел на нас, угощал конфетами, шутил с нами, – он смотрел на нас, а видел своих погибших детей. Об этом он так долго и говорил с моим отцом, покуривая на скамейке. А нарядная женщина больше через наш двор не ходила, видимо, что-то очень правильное сказала ей Екатерина Ивановна.

Как все дети, мы играли в войну, но возникла непредвиденная ситуация, когда все мальчишки хотели быть только командирами и бойцами Красной армии и никто не соглашался быть «фашистом». Вообще назвать кого-либо фашистом было самым страшным оскорблением в послевоенные годы. Но ведь должны же мы были героически сражаться с врагом, а где его взять? В то время еще жила уличная традиция: биться двор на двор, тем более что старые дворы в центре города были многолюдными. Нашими врагами стали мальчишки из соседних проходных дворов, но назвать их фашистами язык не поворачивался. Общей территорией был Кулибинский парк, по периметру густо обсаженный акацией. В Петропавловской церкви располагался кинотеатр «Пионер», рядом деревянная танцплощадка, вокруг которой росли неохватные липы, посаженные еще во времена Екатерины Великой. В парке находились две веранды: читальня и шахматная площадка. Парк казался нам огромным, были в нем и дикие уголки, заросшие сиренью и бузиной. На окраине парка со стороны Гранитного переулка сохранялись высокие деревянные ворота, возле которых были разбросаны могильные плиты и расколотые памятники с дореволюционной орфографией.

Территория парка была негласно поделена между дворами, располагавшимися вокруг зеленого массива. Казалось бы, есть причины для дворовых войн, но, как говорила моя мама, в пределах трамвайного и троллейбусного кольца все знают друг друга в лицо, поэтому все мальчишки, как и их родители, были в приятельских или дружеских отношениях. Следовательно, «фашистов» не было, поэтому ранения мы получали только в воображаемых сражениях, но военные санитарки у нас были как настоящие: в маминых или бабушкиных гимнастерках, с повязками на рукавах, с сумками и даже самодельными носилками, на которых меня не раз выносили с перебинтованной головой или ногой с поля боя. Как-то санитарка Наташа с Володарки вытащила из сумки настоящий шприц и заявила, что сделает мне укол. Я так перепугался, что сразу выздоровел и, подхватив деревянный автомат, соскочил с носилок и устремился на помощь своим боевым друзьям.

Некоторые мои старшие возрастом товарищи росли без отцов, так уж получилось, но они гордились своими погибшими на войне отцами, выносили во двор малоформатные фотокарточки, с которых смотрели молодые лица. Иногда по вечерам мой отец подсаживался к нашему мальчишескому кругу, собиравшемуся на заднем дворе, искусно вырезал из деревянных брусочков автоматы и пистолеты, которыми были вооружены все окрестные ребята. У отца на теле были глубокие шрамы, напоминавшие о тяжелых фронтовых осколочных ранениях. В чернопрудской бане, где мы с отцом по субботам подолгу с наслаждением парились, какой-то мужчина, сидевший на соседней скамье, участливо молвил: «Знатно же зацепило тебя, браток». Однажды, когда отец сидел с нами и учил нас вырезать чижика, я попросил его: «Пап, расскажи про войну». Отец погладил меня по стриженой голове и сказал: «Воевал как все, три раза был ранен. Но самое главное в том, что мы победили и у вас точно будет счастливая жизнь».

На Пырловке, Ошаре, Володарке, Ковалихе верховодила послевоенная задиристая шпана, но даже она не позволяла себе очистить карманы хмельного фронтовика, забредшего в далеко неблагополучный квартал и присевшего на лавочку покурить. В то время еще не приглашали на официальные школьные праздничные встречи отцов и дедов, успевших повоевать, но многие учителя-мужчины сами были фронтовиками, и на уроках мы считали на орденских планках, сколько наград они заслужили. Бывало и так, что прямо на уроке, когда кто-либо шалил или дерзил, учитель вдруг начинал рассказывать о своих школьных годах, о начале войны, о том, что победа досталась нам нелегкой ценой, и мы, пристыженные, старались изо всех сил показать, как мы уважаем нашего учителя и любим его предмет.

Каким-то особенным шиком у некоторых дворовых мальчишек стало постоянное употребление срамных слов. Сплевывая сквозь зубы, они лениво тянули слова, подражая приблатненным пацанам, которые были, наверное, в каждом многолюдном послевоенном дворе. Один раз знакомый точильщик услышал, как соседский мальчишка выругался, и поговорил с ним настолько душевно, что тот даже заплакал. У моей двоюродной бабки в комоде хранились письма, отправленные ее мужем с фронта. Он был кадровым командиром Красной армии. В конце января 1943 года он прислал жене неожиданное и удивительное письмо, в котором каялся, что 36 лет не верил в Бога и ругался матом, но с завтрашнего дня он круто менял свой образ военной жизни, обращаясь к Божией помощи и не оскверняя себя и других матом. На следующий день в жестоком бою он погиб. Это письмо отдали мне, его прочитал мой отец, сглотнул ком в горле и сказал: «Душа всегда должна оставаться чистой!»

Послевоенные дети, не знавшие бомбежек и страха смерти, тем не менее мы хорошо знали, что такое похоронка, что такое братская могила, почему плачут вдовы над маленькими фотографиями командиров и бойцов. И мы замирали от нашего маленького счастья, когда в воскресный день отцы, надев пиджаки с боевыми наградами, с мамами под ручку вели нас есть мороженое и пить газировку на главную улицу города. Крепко сжимая отцовскую руку, я гордо шагал, постоянно бросая взгляд на отцовские медали, и мне так хотелось, чтобы все вокруг видели, что мой отец тоже геройски добывал нам нелегкую победу. А мы, по существу совсем еще несмышленыши, уже хорошо знали настоящую цену победы.

Однажды я проснулся от щемящей тишины. Выбежал во двор и увидел сидящего на нашем крыльце Славку Логинова, который держал в руках смятую пилотку. «Безногих увезли, – сказал тихо Славка, – отец с ночной смены пришел, говорит, каталки валяются». – «Куда увезли?» –   
удивился я, так как приготовил для знакомого инвалида три папиросы и коробок спичек. «Не знаю, вот отец пилотку подобрал». Мы быстро прошлись по Ошаре до Черного пруда: безногих инвалидов на привычных перекрестках не было. А вскоре про них вообще позабыли.